

# Говард Филлипс Лавкрафт

## Натура Пикмена

(Pickman's Model)

Не нужно считать меня безумным, Элиот, у многих найдутся предрассудки похлеще моего. Ты же не высмеиваешь деда Оливера, не желающего ездить в автомобиле. И если это поганое метро мне не нравится, я имею на это полное право, в любом случае на такси мы добрались сюда быстрее. Не пришлось лезть со станции на горку от Парковой.

Я знаю, что кажусь теперь куда более нервным, чем год назад, когда мы встречались с тобой в последний раз. Не надо разводить здесь целую клинику. Как знает Господь, тому была бездна причин, и я могу только радоваться, что сохранил рассудок. При чем тут третья степень алкоголизма? Не будь таким любопытным.

Ну хорошо, если тебе суждено это услышать, у меня нет причин возражать. Может быть, я даже должен это сделать после тех горестных писем, которыми ты, словно расстроенный папаша, начал оделять меня, узнав, что я оставил Клуб искусств и держусь подальше от Пикмена. Теперь, когда он пропал, я вновь стал заглядывать в бутылку – время от времени, но нервы, понимаешь, нервы шалят.

Нет, я не знаю, что произошло с Пикменом, и не желаю даже догадываться. Должно быть, ты сообразил, что я расстался с Пикменом, кое-что разузнав о нем, – потому-то я и знать не хочу, что с ним случилось.

Пусть рыщет полиция – им едва удастся обнаружить нечто существенное, они не узнали даже о квартире его в Нортэнде, той, которую он снимал под фамилией Питерс. Я и сам не уверен, что смогу отыскать ее... и не желаю пытаться, даже при ярком солнечном свете. Да, я знаю, точнее боюсь, что знаю, почему он заслужил такую судьбу. Я сейчас объясню. И думаю, ты поймешь, почему я не обращаюсь в полицию; еще прежде, чем я закончу рассказ, они будут просить меня проводить их, а я не пойду в этот дом, даже если сумею вспомнить, где он находится. Там было такое... Теперь я не могу пользоваться подземкой и – смейся, пожалуйста, на здоровье – спускаться в погреба.

Думаю, ты представляешь, что я оставил Пикмена не по глупой прихоти, не со старушечьего страха – как это сделали доктор Рейд, или Джо Минот, или Росурт. Жуткое искусство меня не шокирует, и когда я встречаюсь с человеком, обладающим гениальностью Пикмена, я почитаю за честь познакомиться с ним, куда бы ни отправляли зрителей его работы. В Бостоне не рождалось художника более великого, чем Ричард Антон Пикмен. Я это говорил тогда, скажу и теперь, я не оставил этого мнения, даже когда он выставил «Пир упырей». Это было, когда Минот, помнишь, порезал его.

Ты знаешь, нужно обладать глубочайшим мастерством и проникновением в суть природы, чтобы писать такие вещи, как Пикмен. Любой мазилка, малюющий обложки для журналов, может наляпать краски на холст и обозвать получившееся кошмаром или шабашем ведьм, даже портретом нечистого, но только из-под кисти великого художника может выйти нечто истинно

странное и правдоподобное. Дело в том, что лишь настоящий художник может постичь истинную анатомию ужасного и физиологию страха, точные очертания и пропорции, совпадающие с тем, что твердит нам дремлющий инстинкт и наследственные воспоминания, знающие и верные световые контрасты, и цвет. Не надо объяснять тебе, почему от картин Фузели мурашки бегут по коже, а обложка дешевой книжонки о призраках вселяет смех. Такие мастера способны ухватить нечто вневременное, а потом заставить нас поверить себе. Так было с Доре. Это есть у Симэ. И у Ангаролы из Чикаго. И Пикмен обладал этим умением в такой мере, как никто до него, и дай-то Боже, чтобы и после.

Не спрашивай у меня, как они это видят. Ты знаешь, и в обычном искусстве есть разница между тем, что живет и дышит, как положено Богом, и всякими фокусами, высосанными из пальца в пустой студии коммерческого успеха ради. Или, если сказать иначе, по-настоящему жуткие картины должны порождаться видениями, являющимися художнику истинное, что творится в окружающем нас мире духов. И тогда мастер рисует такое, что отличается от приторных фантазий халтурщика, как произведения истинного живописца от изделий учащегося заочной школы рисунка. Если бы хоть однажды увидеть то, что открывалось Пикмену... Избави Боже! Давай-ка выпьем, прежде чем пускаться дальше. Боже, да меня бы и в живых не было, если бы только я увидел этого человека... если это и впрямь был человек.

Ты помнишь – сила Пикмена была в лицах, я не верю никому после Гойи, умевшего вложить в жуткую физиономию или гримасу истинный ад. Ну а до Гойи – взять хотя бы средневековых трудяг, создававших горгульи и химеры для Нотр-Дам и Мон Сен-Мишель. Они верили в существование многого, а значит, и видели многое, ведь в Средневековье были свои любопытные фазы. Я помню, ты сам спрашивал у Пикмена за год примерно до твоего отъезда, где, в каких громах и молниях сумел он подсмотреть свои идеи и видения. Помнишь, каким гаденьким смешком он отделался от тебя? Из-за этого-то смешка Рейд и оставил его. Рейд, как ты помнишь, только что занялся сравнительной патологией и так раздувался от всей «внутренней сути» – биологического и эволюционного смысла различных умственных или физических симптомов. Он сказал, что Пикмен день ото дня вселяет в него все большее отвращение, даже стал пугать в последнее время, и что ему это не нравится. Он поговорил тогда еще о диете и сказал, что Пикмен должен быть безумцем и сумасбродом высшей степени. Наверное, это ты и намекнул Рейду – если вы с ним переписывались, – что ему необходимо либо более не видеть картин Пикмена, либо как-то обуздать собственное воображение. И я прекрасно помню, что сам тогда говорил ему.

Но помни, сам-то я оставил Пикмена вовсе не за такое. Напротив, мое восхищение им все продолжало расти – ведь «Пир упырей» был истинным шедевром. Ты помнишь, клуб не захотел выставлять его, а Музей изящных искусств не принял даже в качестве подарка; могу добавить – никто не хотел покупать эту картину, так что Пикмен держал ее в доме до самого конца. Теперь она у его отца в Салеме – ты знаешь, в жилах Пикмена текла еще та старая салемская кровь, какую-то из его прародительниц повесили как ведьму в 1642 году.

Я стал частенько заходить к Пикмену, особенно после того, как начал делать заметки для монографии о жутком искусстве... Быть может, именно его работы и вложили мне в голову эту идею, и когда я приступил к делу, Пикмен оказался просто источником сведений и предложений. Он показал мне все свои картины и рисунки, находившиеся у него, в том числе и наброски пером, за которые его мгновенно вышибли бы из клуба, проведай кто о них. Вскоре я сделался едва ли не почитателем его и мог, словно школьник, часами внимать его разглагольствованиям... Философические размышления эти и искусствоведческие теории достойны были истинного обитателя денверского сумасшедшего дома. И мое почитание – тем более что люди старались по возможности не иметь с ним дела – делало Пикмена откровенным... так что однажды вечером он

намекнул, что, если я буду держать язык за зубами и не подожду хвост, он покажет мне нечто особое... куда более сильное, чем осмеливался он держать в доме.

«Сам знаешь, – пояснил он, – есть вещи, которые не годятся для Ньюбери-стрит, они здесь неуместны и не могут даже быть здесь созданы. Мое дело – подмечать обертоны души, а что можно уловить среди домов-высочек, выстроившихся вдоль искусственной улочки спланированного района? Бэк-Бэй – это не Бостон... еще ничто вообще; эти кварталы не обрели еще памяти, не привлекли к себе духов. Найдись здесь какой-то призрак, он непременно окажется тихоней с соленого болота, из мелкой лужи... а мне нужны духи людей, способные увидеть ад и понять его.

Художник может обитать только в Нортэнде. Любой искренний эстет должен уйти в трущобы, навстречу традициям масс. Боже мой! Неужели же непонятно, что эти улицы не созданы человеком, они выросли сами. Поколения сменяли друг друга, жили, радовались жизни и умирали – тогда не боялись жить, радоваться и умирать. А ты знаешь, что в 1632 году на Копсхилл была мельница, а половина улиц города была замощена в 1650-м? Я могу показать дома, простоявшие два с половиной столетия, дома, перед которыми свершалось такое, от чего современные коробки рассыпались бы в прах. Что мы ныне знаем о жизни, о силах, управляющих ею? Мы называем колдовство салемских ведьм иллюзиями, но я держу пари – моя четырежды прабабушка могла бы кое-что рассказать. Ее повесили на Гэллоуз-хилл, Висельной горе. А святоша Котон Матер благосклонно глядел на казнь. Матер, черт бы его побрал, вечно боялся, что хоть кто-то вырвется из проклятой клетки монотонного бытия... Жаль, что никто так и не испортил его, не высосал ночью всю кровь из жил.

Могу показать даже дом, где он жил, и еще один дом – куда он так и не посмел войти, невзирая на все смелые речи. Он знал такое, чего не смел поместить в дурацких «Magnalia» и детских «Чудесах невидимого мира». Кстати, а ты знаешь, что некогда весь Нортэнд был пронизан туннелями, соединявшими дома некоторых людей друг с другом... и с морем и кладбищем? Пусть на земле творятся суд и казнь, но внизу вне досягаемости каждый день происходило другое, и по ночам давились хохотом загадочные голоса.

Видишь ли, клянусь, что в любых восьми домах из каждых десяти, построенных до 1700 года и не перестраивавшихся после этого, в погребке обязательно обнаружится нечто странное. И месяца не проходит, чтобы в газетах не написали о рабочих, обнаруживших заложенные кирпичами арки или колодцы, ведущие в никуда. При разрушении старого дома... ну вот хотя бы на Кучерской в прошлом году. Там жили ведьмы, туда являлись призванные ими духи, пираты приносили туда добычу, контрабандисты тащили товар, заходили каперы... Говорю тебе: в прежние времена люди умели жить и наслаждаться жизнью. И это был единственный мир, который мог познать смелый и мудрый... ха! И представь себе для контраста нынешний день... Эти молочно-розовые создания, которых – избранных, даже художников – повергают в неизменное отвращение творения, выходящие за рамки вкусов, принятых за чаем в домах на Маячной!

Единственное, за что еще можно благодарить нынешний день, так это за то, что он не слишком приглядывается к былому. Что говорят нынешние карты и книги, путеводители Нортэнда? Ба! Берусь, не задумываясь особо, провести тебя по трем или четырем десяткам улочек к северу от Принцевой, о которых не подозревает ни одна живая душа, кроме иностранцев, населяющих этот район. Ну а что они могут знать об этих улочках? Нет, Турбер, старинные закоулки эти дремлют, источают ужасы и чудеса, спасают от обыденности, и ни единой душе не понять этого и не извлечь какую-то выгоду. Ну, одна-то, впрочем, найдется – я ведь ковырялся здесь не за так!

Слушай, такие вещи тебя интересуют. А что, если у меня есть еще одна студия – в тех местах, где я могу вызывать ночных духов и рисовать такое, о чем нельзя даже подумать на Ньюбери-стрит? Естественно, нечего и думать, чтобы сказать об этом в клубе... Проклятый Рейд, черт бы его побрал, и так нашептывает повсюду, дескать, я какое-то чудовище, пытающееся развернуть эволюцию в обратную сторону. Да, Турбер, я давно уже понял, что ужасы, как и красоту, следует писать с натуры. И я искал поэтому в тех местах, где обитает ужас, – у меня были причины знать их.

Я разыскал угол, который, кроме меня, не видели и три живых арийца. Дом стоит не так далеко от наземки. Но для души – отстоит на века. Я снял этот дом из-за старинной кирпичной стены в погребе – как раз из тех, о которых я тебе говорил. Лачуга еле держится, поэтому там никто не хочет жить, и мне стыдно даже говорить, как мало я плачу за нее. Окна забиты, да оно и к лучшему, дневной свет не для того, чем я там занимаюсь. Рисую я в погребке... там вдохновение гуще. Но наверху есть несколько комнат. Дом принадлежит какому-то сицилианцу, я снимаю его под фамилией Питерс. Ну, если ты еще не сдрейфил, могу прихватить сегодня вечером. Думаю, картины тебе понравятся, говорю же – там я могу кое-что позволить себе. Дорога не дальняя, иногда я хожу туда пешком; знаешь, не хочется привлекать внимание к этому дому появлением такси. Сядем на автобус на Южной станции до Батарейной – оттуда недалеко».

Ну, Элиот, после таких слов мне не осталось ничего, только сдерживаться, чтобы немедленно не броситься за первым же кэбом. На Южной станции мы пересели на наземку и около двенадцати часов уже спускались по ступенькам к Батарейной, а потом повернули вдоль старого порта, мимо верфи «Конституция». Я не следил за поперечными улицами и не могу сказать, где мы свернули, знаю только, что это была не Гриноу-лейн.

Но когда мы свернули, пришлось пробираться вверх по самому старинному и грязному переулку из всех, что мне приходилось видеть... Осыпающиеся островерхие крыши, разбитые крохотные окошки, наполовину обвалившиеся древние трубы пальцами тыкали в лунное небо. Думаю, что там не нашлось бы и трех домов, которых не мог видеть Котон Матер... Во всяком случае, два оказались с блоками наверху. Однажды мне показалось, что я заметил очертания горбатой крыши почти забытого теперь типа, хотя любители старины и утверждают, что в Бостоне их не осталось.

Из этого еще все-таки чуть освещенного переулка мы свернули в другой, куда более узкий, где света не было вовсе, и через какую-то минуту, как мне кажется, под тупым углом свернули направо... Вскоре после этого Пикмен извлек фонарик и осветил им допотопную дверь с десятью панелями, казавшимися изрядно источенными червяком. Отперев ее, он впустил меня в пустую прихожую, на стенах которой еще держались остатки дубовой обивки времен Андроса и Фиппса... и салемиских ведьм. А потом пригласил в открытую дверь налево, зажег масляную лампу и велел располагаться как дома.

Ну, Элиот, человек я из тех, которых в уличном просторечии называют «крутыми», но признаюсь честно: то, что оказалось на стенах, смутило меня, – я говорю про его картины, те, что он не смел рисовать на Ньюбери-стрит и даже показывать там. Он был прав, когда говорил, что здесь «позволяет себе». Вот – пей же – я сейчас не могу не выпить.

Бесполезно даже пытаться передать их содержание, потому что незаконный, кошунственный ужас, невысказанная мерзость и моральный смрад исходили буквально из любого мазка, не поддаваясь оценке разума. В технике его не было ничего экзотического, как и у Сидни Симэ... никаких трансатурбийских ландшафтов и лунных грибов, которыми Кларк Эштон Смит умеет заморозить кровь в жилах. Фоном по большей части служили церковные дворы, дремучие леса, утесы у моря, кирпичные туннели, старинные комнаты с обшитыми деревом стенами или просто

каменные подвалы. Кладбище на Коппсхилл, расположенное где-то неподалеку, было одним из излюбленных сюжетов.

Всю жуть и безумие источали фигуры на переднем плане – с жутким мастерством Пикмен рисовал то, что вне сомнения можно было назвать портретами бесов. Фигуры редко были человеческими – только в различной степени к ним приближались. По большей части тела их были двуноги, сужались к груди и чем-то напоминали собак. Кожа их чаще казалась гадкой... резиновой, что ли. Ух! До сих пор вижу их! Заняты они были... лучше не спрашивай меня чем. Обычно они ели – не буду говорить что. Иногда группами они оказывались на кладбище или в подземном коридоре и частенько как бы ссорились над добычей – точнее, над сокровищем. И какую же проклятую экспрессивность иногда придавал Пикмен незрячим лицам этой кладбищенской добычи! Иногда твари его запрыгивали в окна ногами, восседали на груди спящих, теребя их горло. На одном холсте целая стая их облаивала ведьму, повешенную на Гэллоуз-хилл; лицо ее было сродни их собственным.

Только не подумай, что я там лишился чувств из-за одной только мерзкой темы в столь подробном развитии. Лица эти были... лица, Элиот, жуткие проклятые лица, наглые, слюнявые, насмеявшиеся на холсте в полном подобии жизни! Бог мой, да я был готов поверить в то, что они живые! Мерзкий колдун сумел влить адово пламя в свои краски, а кисть его, словно волшебная палочка, порождала кошмар за кошмаром. Дай сюда бокал, Элиот!

Была там одна штука, под названием «Урок»... Господи, помилуй мя за то, что видел ее! Представь себе кружок этих безыманных человекопсов на церковном дворе, обучающих ребенка питаться тем же самым, что и они! Подменили, значит... Помнишь старые сказки, о том, как эльфы оставляют своих подкидышей в детских колыбельках, а детей крадут? Вот Пикмен и показал, что случается с этими украденными детьми – как они растут. Тут я начал замечать ужасное сходство между человеческими лицами и этими мерзкими физиономиями.

Через все градации мерзости он устанавливал явную связь между полностью нечеловеческими рылами и еще сохранившими в себе нечто людское. Его псовидные твари порождены были смертными!

И едва я подумал, а что же, по его мнению, происходит с молодежью этих человекопсов, подкинутой в людские дома, как мой глаз сразу же наткнулся на картину, посвященную этой теме. Передо мной была комната в старинном пуританском доме; потолок с тяжелыми балками, окна со ставнями... семейство слушает отца, читающего Писание. На каждом лице написано почтение и благородство, только на одном – злонравие преисподней. По летам молодой человек, вне сомнения, считался сыном этого благочестивого отца, но в сущности своей был родней тем нечистым тварям. Вот тебе их подкидыш – и в порядке высшей иронии Пикмен придал наглому юнцу собственные черты.

Тем временем Пикмен уже зажег свет в соседней комнате и, вежливо придерживая дверь, пригласил познакомиться с его последними работами. Высказать свое мнение я был не в силах – испуг и отвращение буквально лишили меня речи, – но, как мне кажется, он все понял и чувствовал себя польщенным. Тем не менее хочу еще раз напомнить тебе, Элиот, что я не из тех хомяков, что зальются визгом, увидев нечто чуточку отличающееся от привычных канонов. Я человек немолодой, достаточно повидавший, и, мне кажется, еще во Франции ты мог понять, что меня не так легко потрясти. Помни – я уже вроде пришел в себя, даже привык к этим странным картинам, делавшим из колониальной Новой Англии отделение ада. И невзирая на все это, на пороге следующей комнаты я завопил... мне пришлось вцепиться в дверь, чтобы не упасть. В оставшемся позади помещении стаи упырей и ведьм населяли мир наших предков, но новая

комната наполняла ужасами нашу повседневную жизнь. Боже, что это был за художник! Одна картина называлась «Случай в подzemке». Стая мерзких тварей лезла из неведомой катакомбы через щель, разверзшуюся в полу станции Бойлстон-стрит, первые уже набрасывались на толпу людей на платформе. На другой картине изображена была бесовская пляска на Коппсхилле, каким он предстает перед нами сегодня. А потом пошли сцены из жизни подземелья, и чудовища лезли через дыры и трещины, ухмылялись из печей и бочонков, поджидали жертву, затаившись под лестницей.

Один отвратительный холст изображал огромный разрез Маячного холма; подобные муравьям смрадные чудища сновали по пронизавшим землю ходам. Потом опять пошли пляски на современных кладбищах, а за ними оказалась картина, потрясшая меня более прочих, – дело происходило в неведомой гробнице. Стая тварей окружала одну, державшую в лапах известный путеводитель по Бостону и явно читавшую выдержки из него вслух. Всех явно развлекал какой-то пассаж, и физиономии были искажены столь гулким эпилептическим хохотом, что мне уже начало казаться, будто дьявольское эхо доносится и до меня. Подпись под картиной гласила: «Так Холмс, Лоуэлл и Лонгфелло погребены в Осенней горе».

Постепенно отрываясь от стен, привыкая к наполнявшей второй зал дьявольщине и мерзости, я начал помаленьку анализировать причины тошнотворного отвращения. Во-первых, говорил я себе, твари эти отвратительны потому, что Пикмен показал их в предельной бесчеловечности и злорадной жестокости. Этот художник наверняка безжалостный враг всего человечества, иначе откуда такое наслаждение муками плоти и мысли, деградацией моральных основ? Во-вторых, картины ужасны потому, что великолепны. Искусство их убеждало... и на картинах, вселяя страх, представляли сами демоны. Странно было и что Пикмен не прибегает к внешним эффектам: никаких искажений, ничего расплывчатого. Все контуры четки, очертания наполнены жизнью, детали проработаны почти с болезненной точностью. И еще эти лица!

Передо мной представала не какая-то интерпретация художника; пандемониум во всей своей мерзости, кристально четкий, наглядный и реальный. Реальный, клянусь Небом! Этот человек не был ни романтиком, ни фантастом – он и не думал передавать зрителю смутные видения и химеры, просто спокойно и деловито, невозмутимо, с холодным сердцем и насмешкой на устах открывал тот стабильный и механический, вполне устоявшийся мир ужасов, который ему виделся... полностью, без пропусков и искажений, во всем бесовском разгуле. Один Господь знает, где он подглядел этот мир, откуда взял кощунственные формы, ползавшие, бегавшие и прыгавшие по нему. И, каким бы неожиданным ни оказался источник этих видений, ясно было одно: с точки зрения замысла и исполнения Пикмен был внимательным, дотошным реалистом, проявляя почти наукоподобную верность деталям.

Хозяин мой уже спускался в погреб – в свою студию, – и я приготовился уже к новым адским мукам среди неоконченных работ его. Когда, сойдя по влажной лестнице, мы достигли дна, он посветил фонариком в угол, обнаружив там кольцо, выложенное из кирпича в земляном полу, – там некогда находился колодец. Приблизившись к нему, я заметил, что он был футов в пять поперечником, стенки в добрый фут толщиной выступали из земли дюймов на шесть... Добротная работа, семнадцатое столетие, если я не ошибся. Вот, проговорил тогда Пикмен, об этом он и рассказывал... Передо мной лежал вход в сеть туннелей, пронизывающих весь холм. Я празднично отвечал, что, судя по виду, его не собирались закладывать, и наиболее подходящей крышкой может послужить деревянная. Представив себе, какие твари могут вынырнуть из нее, если безумные намеки Пикмена не пустая риторика, я слегка поежился, а затем, поднявшись на ступень, следом за хозяином вошел в узкую дверь, за которой оказалась довольно просторная комната с деревянным полом, отделанная под студию. Необходимый для работы свет давал ацетиленовый рожок.

Неоконченные работы, стоявшие на мольбертах или прислоненные к стенам, были столь же гнусны, как и законченные – наверху, и во всех подробностях характеризовали одержимость художника. Сцены компоновались с предельной тщательностью, карандашные линии свидетельствовали о дотошности, с которой Пикмен выдерживал правильную перспективу и пропорции. Он был великий человек, я повторю это и теперь, зная все. Внимание мое привлекла большая фотокамера на столе, и Пикмен пояснил, что использует ее для точного выполнения фона, что вполне можно рисовать виды с фотографий, а не торчать с мольбертом в нужном месте. Фотография, с его точки зрения, поставляла вполне доброкачественный материал для дальнейшей работы. По его словам, к этой методе он прибегал регулярно. В тошнотворных набросках и различных полуоконченных чудящах, что пилились на меня отовсюду, виднелось нечто очень тревожное. И когда Пикмен вдруг открыл огромный холст в затененном углу, я не сумел подавить вопля – второй раз за всю эту ночь. Отражаясь от сводов, звук загулял по древнему затхлому подземелью, и мне пришлось изрядно потрудиться, чтобы подавить истерический хохот. Благословенный Творец! Элиот, не знаю, что там было порождено реальностью, а что лихорадочной фантазией. Только думается, что земле не вынести подобного сна.

Передо мной было колоссальное безымянное богохульство с горящими красными глазами, и в костистых пальцах оно вертело некую штучку, оказавшуюся человеком, и обсасывало его голову, как дитя карамельку на палочке. Оно пригибалось к земле и, казалось, вот-вот бросит свою добычу ради кусочка послаще. Но, будь он проклят, не сам этот дух злобы вызвал столь самозабвенный ужас, – нет, не собачья морда его, не остроконечные уши, не налитые кровью глаза, не плоский нос, не оттопыренные губы и не чешуйчатые лапы, не тело, покрытое гнилью, не раздвоенные копыта... нет, хотя любой из этих подробностей достаточно было, чтобы свести с ума человека более возбудимого.

Это была техника, Элиот, проклятая, кощунственная, сверхъестественная! Я и сам – живое существо, но мне никогда не приходилось видеть, чтобы дыхание жизни находило такое отражение на холсте. Передо мной было чудовище – яростно глядя, оно глодало. Глодая, оно жутко глядело, а я понимал, что только отменив законы природы, может человек написать подобную вещь без натуры... не заглянув хотя бы в тот самый мир, куда нельзя ступить никому, не продавшему душу дьяволу.

К свободному участку холста был пришпилен кнопкой свернувшийся в трубочку листок бумаги... Я подумал, что это фотография, с которой Пикмен собирался написать фон, не менее мерзкий, чем гнусность, которую это окружение должно было подчеркнуть. Я потянулся, чтобы развернуть его, но вдруг Пикмен вздрогнул, словно подстреленный. После того как вырвавшийся у меня в потрясении крик пробудил к жизни необычное эхо, он все прислушивался с особой внимательностью и теперь казался даже испуганным, но не так, как я, – в физическом плане, а не в духовном. Он достал револьвер и жестом приказал мне молчать, а затем шагнул в главное помещение подвала, закрыв за собой дверь.

Кажется, на миг я словно окаменел. Повторяя движения Пикмена, я прислушался; мне представилось, что вдали – непонятно с какой стороны – раздается визг и какой-то топот. Мне представились огромные крысы, я поежился. А потом послышался негромкий стук, от которого по телу мурашки пошли, нерешительный, неуверенный, хотя я не могу передать словами то, что имел в виду. Слово бы дерево или кость стучала по кирпичу... деревом по кирпичу... не копытом ли?

Звук повторился, становясь громче. Пол задрожал – словно дерево упало рядом. А после этого послышался скрежет. Пикмен выкрикнул какую-то тарабарщину и с оглушительным грохотом разрядил револьвер, все шесть патронов – так укротитель львов стреляет в воздух, чтобы произвести впечатление. Негромкий визг... потом стук и опять деревом по кирпичу... и после

недолгой паузы отворилась дверь. Признаюсь, меня передернуло. Пикмен появился с дымящимся револьвером и принялся проклинать крыс, докучавших ему в подвале.

«Черт знает, что они здесь едят, Турбер, – ухмыльнулся он, – но эти старинные туннели выходят и на кладбище, и к морю, и к ведьмину логову. Твой крик всполошил их, так я думаю. Надо быть поосторожнее в этих старинных местах – крысы здесь единственный недостаток, хотя иногда мне кажется, что они усиливают впечатление, создают соответствующую атмосферу».

Вот так, Элиот, и завершилось ночное приключение. Пикмен обещал показать мне это место и показал. Обрато он повел меня другим путем, тоже через путаницу переулков, и когда мы заметили первый фонарь, то оказались на полупознакомой улице с ровными рядами доходных домов и старинных сооружений. Это оказалась Чартер-стрит, но я был слишком потрясен, чтобы заметить, в каком именно месте мы вывернули на нее. Для наземки было чересчур поздно, и мы пошли вниз в город по Ганновер-стрит. Помню я ту прогулку. С Трмонт мы поднялись на Маячную, и Пикмен оставил меня на углу Радостной, куда я свернул. Более мне не приходилось говорить с ним.

Почему я оставил его? Не торопись, подожди, я пока позвоню, чтобы принесли кофе. Этого зелья с нас уже хватит, но душа еще просит чего-то... Нет, причиной тому были не все эти картины, хотя, клянусь тебе, за них его бы выставили из каждого девятого из десяти домов и клубов Бостона; я думаю, теперь ты не удивляешься, почему я стараюсь держаться подальше от подземки и погребов. Дело было в том, что обнаружилось в кармане моего пальто на следующее утро. Помнишь свернувшееся в трубочку фото на жутком холсте в погребе, я-то решил тогда, что с него он будет перерисовывать фон для чудовища. Я как раз начал разворачивать его, и тут этот испуг... словом, я в рассеянности отправил фото к себе в карман. Вот кофе... Элиот, будь умницей, не надо разбавлять его.

Вот тебе причина, по которой я расстался с Пикменом... эта бумажка. Ричард Антон Пикмен, величайший художник из всех, о ком я слышал... И самая грязная тварь из тех, что топтали пределы жизни, прячась в рытвинах мифа и безумия. Элиот, старина Рейд оказался прав. Пикмен был не совсем человек. Или он родился под странной тенью, или научился отпирать запретные ворота. Теперь это безразлично, он исчез – вернулся в пределы мрака, которые так любил. Эй, дай-ка сюда подсвечник.

Не спрашивай, что я сейчас скажу. Не спрашивай у меня и что там за шум был в погребе, когда Пикмен удачно свалил все на крыс. Знаешь, некоторые тайны восходят аж к салемамским временам, а Котон Матер рассказывал еще более странные вещи. Ты помнишь, насколько живыми казались картины Пикмена и как все мы гадали, откуда берет он свои жуткие лица?

Ладно... На фотографии этой не было никакого фона, он просто перерисовал с нее чудище на холст. Оно позировало – а позади была только стенка погреба во всех подробностях. И клянусь Господом, Элиот: фотография была снята в том самом подвале.

*Перевод: Юрий Соколов  
2001 год*